

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 4

**КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА**



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 4

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 4 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	27
Глава 5	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 4

Глава 1



Крышка правого капота идёт вверх медленно, с ленивой неохотой всякого железа, которое ночь провело в огне, а утро — на холодном ветру. Техник держит её через ветошь снизу, Плешаков — сбоку, и оба смотрят не внутрь, а на собственные руки, чтобы не уронить край на шпильки.

— Принял, — говорит Плешаков. — Ставь подпорку. Не пальцами держи, ставь подпорку.

Техник подводит упор под поднятую крышку, проверяет, что конец сел в гнездо. Плешаков понемногу отпускает край; крышка остаётся на месте, и только тогда оба убирают руки.

Изнутри тянет тем самым запахом, который я узнал бы в темноте: горячий металл, выгоревшее масло, бензин, нагретая краска. За ночь он пропитал мне куртку насквозь, но здесь, у открытого мотора, он другой — гуще, злее, живой.

Я делаю шаг ближе. Правое колено принимает четверть веса, как договаривались с Лидой, и сразу напоминает, что четверть — это её цифра, а не моя.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Плешаков, не поворачивая головы, — отойдите на полшага. Вы мне свет закрываете.

— Я тебе свет не закрываю. Я стою сбоку.

— Вы стоите там, куда мне надо смотреть.

Я отхожу на полшага. Тридцать лет в прошлой жизни у меня уходило на то, чтобы выучить это движение и перестать считать его обидным: техник у открытого мотора главнее командира полка. Молодому телу, в котором я теперь живу, эта наука не досталась. Оно хочет

взять ключ. Оно хочет первым увидеть, что там внутри, и по возможности само вытащить оттуда причину за шиворот.

Плешаков берёт переносную лампу, светит под жгут проводки и молчит дольше, чем мне удобно.

— Ну?

— Гну, — отвечает он, заводя лампу глубже. — Погоди с причиной. Гурьев, ящик командиру.

Моторист Гурьев, парень лет двадцати с обгоревшими до белизны бровями, тащит от стены капонира деревянный ящик из-под приборов, ставит его торцом у колеса и смотрит на меня вопросительно.

— Садитесь, — говорит Плешаков. — Мне от вас сейчас нужны минуты и режимы, а не ещё одна пара рук. Рук у меня три, а минут никто, кроме вас, не помнит.

Я сажусь. Колено благодарно вытягивается вперёд, в дурацкое положение, в котором его меньше дёргает. Ящик пахнет стружкой и старым машинным маслом; на боку чернильный номер и раздавленная сургучная печать. С этой точки правый мотор виден целиком: чёрный от нагара коллектор, светлые головки, жгут в оплётке, тяги, штуцера, хомуты — всё то хозяйство, которое ночью шумело у меня под рукой одним ровным звуком и ни разу не соврало.

Литвинов приходит через минуту, с планшетом под правой мышкой. Левая кисть у него поднята к груди, повязка потемнела у ладони, и он несёт руку так, будто она чужая и он согласился поддержать её до вечера.

— Времена, — говорит Плешаков. — Только времена и режимы. Без «мне показалось».

— Тогда садись рядом, — я подвигаюсь на ящике. — Читай с листа, не по памяти.

Литвинов не садится: сидя он не сможет прижать лист правой рукой. Он кладёт планшет на бочку, ставит сверху пустую кружку, чтобы ветер не листал, и водит по строкам карандашом, зажатым в здоровых пальцах.

— На наборе, после второй тысячи, показание температуры головок правого подошло к принятой черте, — говорит он. — Записано двадцать три минуты после старта. Через полторы минуты командир уменьшил угол набора и прибавил скорость. Ещё через минуту жалюзи открыты полностью. Рост остановился на четвёртой минуте после начала, показание отступило на два деления к седьмой.

— Обороты?

— Держались. Разницы с левым по указателю не отмечал.

— Давление масла.

— В рабочей области весь маршрут. Отдельно отмечено в трёх точках: на наборе, после сброса и над морем.

Плешаков слушает, не отрываясь от лампы.

— Звук.

— Ровный, — говорю я. — И это не вежливость. Я эти два мотора слышу через кресло, и правый у меня всю ночь шёл одной нотой с левым. Ни рывка, ни провала, ни того сухого стука, который у них бывает перед неприятностью.

— Вибрация?

— Не изменилась. На боевом режиме и на отходе я её проверял специально, потому что температура мне не понравилась.

— Течь?

— Свежей не видел ни я, ни Костенко снизу. И под мотором на вашей ветоши сейчас сухо.

Плешаков наконец выпрямляется, вытирает пальцы о тряпку и смотрит на меня так, как смотрят на человека, который сдал экзамен, но ещё об этом не знает.

— Вот теперь можно работать, — говорит он. — Теперь у меня есть машина, которая честно прошла маршрут с подъёмом температуры на наборе. Из такой машины я причину достану. Из «еле дотянули» не достану ничего.

— А кто сказал «еле дотянули»?

— Скажут, — отвечает он спокойно. — Всегда говорят.

И оказывается прав раньше, чем я успеваю ответить.

Гурьев, сидя на корточках у второй стремянки, старательно и медленно пишет в тетради огрызком карандаша. Он старается, у него мокрый чуб и очень сосредоточенное лицо человека, который впервые в жизни оформляет документ.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он, не поднимая головы, — я так и запишу: правый работал с перебоями, экипаж дотянул на одном?

В капонири становится тихо. Слышно, как на полосе бросают землю с лопат, как далеко работает грузовик и как ветер с моря шевелит маскировочную сеть над нами.

— Не так, — говорю я.

— А как? Я же... ну, для порядка. Там же спросят, как шли.

— Спросят — ответим точно. Пиши. Правый мотор работал весь маршрут. Давление масла в рабочей области. Обороты держал. Звук и вибрация без изменений. Температура головок на наборе подходила к принятой черте и отступала после уменьшения угла, прибавки скорости и полного открытия жалюзи. Перебоев не было. Отказа не было. Полёта на одном моторе не было.

Гурьев смотрит на меня озадаченно, держа карандаш над недописанной строкой.

— Так это ж... скучно как-то.

— Зато правда.

— Так все ж пишут ярче, — он поворачивает ко мне тетрадь, словно надеется ещё отстоять свою строчку.

— И ты завтра будешь по этой яркости искать неисправность, которой нет, — говорит Плешаков, — а ту, которая есть, пропустишь, потому что она в твою красивую строчку не влезает. Пиши, как сказал командир. Слово в слово.

Гурьев сопит и пишет. Я смотрю на его затылок и думаю, что зря на него сержусь. Ему двадцать лет, он третий месяц на фронте, и ему хочется, чтобы ночь, из которой машина вернулась с осколочной ссадиной на борту, называлась как-нибудь громко. Я в его возрасте — в том, настоящем, давнем возрасте — тоже писал ярче, чем было. Меня отучил один старый техник, которого я потом двадцать лет вспоминал каждый раз, когда подписывал чужой отчёт.

— Гурьев, — говорю я.

— Я.

— Через год ты будешь принимать доклады от таких, как я. И если тебе привезут «еле дотянули», ты будешь стоять у мотора и не знать, где искать. Не приучай себя к этому с утра.

Он оборачивается и неожиданно улыбается — сразу мальчишкой, не документом.

— Понял.

Плешаков берёт лампу иначе, снизу, и заводит её под жгут, туда, где шланг в металлической оплётке идёт вдоль кронштейна к задней части мотора.

— Так, — говорит он. — А вот это мне нравится.

Я поднимаюсь с ящика раньше, чем успеваю подумать про колено. Колено напоминает. Я всё равно подхожу.

В свете лампы видно: металлическая оплётка шланга на длину пальца протёрта до блеска, а под блеском — светлая полоска, где плетение уже разошлось. Кронштейн, о который она тёрлась, держится на двух шпильках, и одна гайка стоит не там, где положено: контровка сорвана, проволоки нет, гайка отошла и позволила кронштейну ходить.

— Люфт, — говорит Плешаков, берёт кронштейн двумя пальцами и качает. Металл отвечает тихим, отвратительным для уха стуком. — Вот он гулял всю ночь и пилил шланг.

— Сколько ему оставалось?

— Полётов на два. Может, на один. Потом бы отдало по месту, и тогда у вас был бы не подъём температуры, а совсем другой разговор в воздухе. — Он проводит ногтем по протёртому месту и добавляет буднично: — Хорошо, что мы сегодня открыли, а не завтра.

Я стою над его плечом и смотрю дальше, туда, куда переполз свет.

В ладони от протёртого шланга проходит выхлопной коллектор. На стыке, под хомутом, металл изменил цвет: широкое пятно побегалости, синевато-фиолетовое в середине, соломенное по краям, и от него вперёд, по ходу потока, тянется тонкий сухой веер нагара. Хомут сидит криво.

— Семён Иванович! — зову я, потому что Руденко как раз проходит вдоль борта со своей рулеткой и мелом, разбираясь с осколочной ссадиной за местом радиста. — Взгляни, пожалуйста.

Руденко подходит, смотрит, не трогая, и хмыкает.

— Прорывало, — говорит он. — Струйкой, узко.

— Вот, — говорю я, и слышу в собственном голосе то, за что через минуту сам себя одёрну. — Вот тебе и температура. Газ бил наружу, грел всё вокруг, отсюда и показание.

Плешаков выпрямляется и очень спокойно вытирает руки.

— Нет, — говорит он.

— Как нет? Пятно — вот. Нагар — вот. Хомут ослаб — вот.

— Всё правильно. Пятно есть, нагар есть, хомут ослаб. И всё это надо чинить, потому что само по себе оно дрянь. — Он берёт меня двумя пальцами за рукав и разворачивает, чтобы я видел головки цилиндров, а не коллектор. — А термометр у вас сидит вот здесь. И чтобы он в наборе пошёл к черте, надо нагреть головку, а не кронштейн. Струйка из-под хомута кронштейн греет. Головку она не греет.

— А если струя достаёт и до головки?

— Вот это сначала проверь, — отвечает он, возвращая лампу к стыку. — Может, да. Может, нет. Может, у вас там третье, о чём мы с вами сейчас оба не думаем: масло, жалюзи, регулировка, качество бензина, температура наружного воздуха на высоте, тяга подвода. Я в этом мотор буду разбирать не по красоте вашей догадки, а по порядку. И скажу вам про причину после пробы, а не до.

Я стою и молчу пару секунд дольше, чем нужно.

Штука в том, что он прав, и я это знаю лучше, чем Гурьев со своей тетрадкой. В прошлой жизни я подписывал акты, в которых красивая догадка, поставленная в графу «причина», закрывала дело, а через полгода то же самое случалось на другом борту, потому что искали не там. Я знаю эту цену. И всё равно у меня чешутся руки поставить точку сейчас, потому что мне страшно неудобно жить с открытым вопросом на своей машине.

— Принято, — говорю я. — Причина — после пробы.

— Вот и хорошо.

— Только имей в виду: Гордеев спросит не после пробы, а через полчаса.

— Спросит, — соглашается Плешаков. — А я отвечу, что мотор остывал до восьми, вскрыт в восемь, дефект найден, устраняется, проба после полного охлаждения и промывки. Больше ему у меня взять нечего.

Он поворачивается к Гурьеву.

— Шланг снять. Не резать — отвернуть по штуцерам и снять целиком. Положишь вот сюда, в ветошь, не в общий ящик. Помечу отдельно.

— А зачем? — Гурьев уже держит ключ. — Он же негодный.

— Затем, что он негодный интересно, — Плешаков разворачивает чистую тряпку и мелом пишет на доске рядом: «13, правый, протир у кронштейна, утренний осмотр, до пробы не выбрасывать». — Я по этому протиру посмотрю, сколько он тёрся. Если давно, значит, у нас кто-то этот кронштейн не проверял два месяца, и надо смотреть все машины, а не только вашу. Если недавно — значит, тряхнуло ночью, и тогда я ищу, от чего тряхнуло.

Он говорит это ровно, без нажима, и я вдруг понимаю, что смотрю на человека, который только что превратил один потёртый шланг в задачу для всего аэродрома. У меня в прошлой жизни на такое уходили совещания.

— Семён Иванович, — Плешаков поворачивается к Руденко, — второй хомут коллектора и все кронштейны по правому борту. Не глазами — руками. И контровку смотри везде, где я сегодня не успею.

— Сделаю, — Руденко записывает мелом на планке и добавляет мне, не оборачиваясь: — Ссадину на борту я померил. Наружная обшивка, кромка приподнята, силовой набор под ней целый. Заклёпки на месте. До завтра заведу накладку.

— Спасибо.

— Не за что. Лучше скажи Костенко, чтоб не ходил смотреть.

— Он и так не пойдёт. Ему рукой шевелить запретили.

— Он всё равно пойдёт, — говорит Руденко. — Он же стрелок.

Гурьев отворачивает штуцера — медленно, с двух сторон, придерживая шланг тряпкой, чтобы остатки не потекли по горячему. Из нижнего конца всё-таки выступает густая тёмная капля и падает на подставленную ветошь. Плешаков смотрит на эту каплю так же внимательно, как только что смотрел на протир.

— Цвет нормальный, — говорит он. — Стружки нет.

— При стружке уже до замены мотора заземлишь? — спрашиваю я, глядя на тёмный след.

— Была бы стружка — я бы вам сейчас сказал, что машина стоит трое суток, и вы бы у меня её не выпросили ни за какие подписи.

Он берёт снятый кусок двумя пальцами, поворачивает к свету, разглядывает разошедшуюся оплётку и кладёт на подписанную тряпку.

— Гурьев. Новый ставишь с прокладкой под кронштейн. Не «поплотнее затяну», а с прокладкой. И контровку обеими руками, а не для красоты.

— Есть.

— Хомут на коллекторе — снять, посадочное место зачистить, поставить новый, старый мне сюда же, в ветошь.

— А он ведь ещё держит вроде, — говорит Гурьев, примериваясь ключом.

— Он держит вроде, — соглашается Плешаков. — Мне «вроде» на выхлопе не нужно.

Я опускаюсь обратно на ящик и смотрю, как он работает, и мне неудобно от того, насколько мне это нравится. Есть особое удовольствие — видеть человека, который в своём деле не торопится и не картинничает. У меня такие были в каждом полку, всего по одному-два на полк, и я всегда знал их по имени-отчеству, а они меня по фамилии.

— Плешаков.

— Слушаю.

— Если хомут и шланг мою температуру не объясняют — что объясняет?

Он выпрямляется, вытирает руки и загибает пальцы. Не для торжественности — просто чтобы не сбиться.

— Три места, — говорит он. — Первое: термопара на головке и её проводка. Прибор мог наврать. Тогда у вас никакого перегрева не было вовсе, а было показание.

— Хорошо бы.

— Вам хочется, чтоб врал прибор, — говорит Плешаков. — И мне хочется. Поэтому я его проверю первым и себе не поверю: сниму, посмотрю контакт, гляну провод по всей длине, где он идёт рядом вот с этим вашим красивым пятном побежалости. Второе: жалюзи. Вы их открыли полностью — по рычагу. А сколько они открылись на самом деле, я вам скажу, когда влзу к тягам. Если привод растянут, у вас на рычаге полное, а на створках две трети.

— И на наборе это как раз и вылезет.

— На наборе это и вылезет, — кивает он. — Третье: маслорадиатор и его заслонка. Если соты забиты пылью и травой — а у нас тут всё лето пыль и трава, — масло охлаждается хуже, и головки идут следом.

— Значит, мотор вскрывать целиком не будешь.

— Не буду, — говорит Плешаков. — Пока не буду. Я его буду греть.

— Как греть?

— На земле. Промою, поставлю всё новое, дам ему остыть до конца, а потом запущу и выведу по режимам, как вы вчера выводили: малый, крейсерский, номинал. И буду смотреть на прибор, на масло и на этот самый ваш хомут. Если показание полезет на земле — я найду где. Если не полезет — значит, ищем в том, чего на земле нет.

— Высота.

— Высота, — соглашается он. — И тогда я вам честно скажу: причину я не нашёл, а нашёл три исправленных дефекта, и машина к вылету годна с ограничением по набору. И вы полетите с этим ограничением, потому что лучше ограничение, чем красивая строчка.

Я киваю. Мне нечего добавить, и это редкое, хорошее чувство.

Гурьев тем временем подкатывает тележку с промывочным бачком, и капонир наполняется запахом бензина. Руденко на другой стороне стучит киянкой по своей планке, отмеряя накладку. Где-то за сетью кричит чайка — нагло, по-хозяйски, как кричат здесь все чайки над всеми аэродромами мира.

Я встаю с ящика, держась за стойку стремянки, и, перенеся руку на край крыла, добираюсь до борта под кабиной.

«Тринадцатый» стоит на колодках, опустив хвост, с открытым правым капотом и раскрытым нутром, и выглядит как человек, которого раздели в чужой приёмной. Белая цифра на борту запылилась и кое-где облупилась по кромке. Под этой цифрой в обшивке — свежая светлая ссадина, размеченная мелом Руденко.

Я кладу ладонь на холодный дюраль под кабиной.

Мне полагалось бы что-нибудь почувствовать. Экипажи всегда что-нибудь чувствуют к своей машине, и я тридцать лет объяснял молодым, что это нормально, пока не начинает мешать работе.

Я чувствую одно: она вернулась. Дошла на двух моторах, села на проход шириной в колею, и сейчас у неё в правом боку копается человек, который не согласен объяснять её поведение красиво.

Ладно. Значит, у нас обоих сегодня всё в порядке.

Долго стоять колено всё-таки не даёт. Я тем же путём возвращаюсь к ящику и сажусь, вытянув ногу мимо колеса.

К стоянке подходит Гордеев. По сапогам и рукавам видно, где он был: у полосы, в земле по щиколотку. Он останавливается у колеса, смотрит на открытый капот, на мою вытянутую ногу, на планшет под кружкой и задаёт единственный вопрос, который у него сейчас есть:

— Машина к ночи будет?

— Мотор вскрыт, дефект найден, устраняется, — говорит Плешаков, не поворачиваясь. — Проба после полного охлаждения. После пробы доложу.

— Мне «после пробы» в сводку не поставить, — говорит Гордеев.

— А мне в мотор не поставить ваш срок, товарищ капитан.

Гордеев коротко усмехается — не весело, а как усмеваются люди, которым эту фразу уже говорили, и она каждый раз оказывалась верной.

— Иванов. С людьми что?

— Идём к врачу. Все четверо.

— Идите, — говорит он. — Потом ко мне с картой. Штаб ждёт формулировку.

Он уходит вдоль капониров, и в его спине хорошо читается, сколько сегодня ещё людей скажут ему «после пробы».

Я поднимаюсь с ящика, держась за стойку стремянки, и ловлю на себе взгляд Плешакова.

— Что?

— Ничего, — говорит он. — Просто вы первый командир за войну, который у меня не спросил, можно ли слетать, если очень надо.

— Можно, если очень надо?

— Нельзя.

— Вот я и не спросил.

Санчасть у нас — землянка с двумя накатами, входом на восток и занавеской из парашютного шёлка вместо двери. Внутри пахнет карболкой, мокрым бинтом и картошкой: кто-то из выздоравливающих чистит её у дальней стены в тазу.

Лида ставит нас не в очередь, а по местам: Литвинова на топчан у лампы, Тимку на табурет у входа, где свет ровный и не бьёт в лицо, Федю к столу, а меня — на второй топчан, ногой вдоль.

— Журавлёв первый, — говорит она. — Остальные сидят и не помогают.

Тимка садится очень прямо, как садятся отличники. Лида берёт кусок картона, вырезанный под таблицу, и держит его на вытянутой руке.

Глава 2



— Правый закрой. Читай левым.

Тимка поднимает ладонь к лицу и читает — уверенно, быстро, почти без пауз. Слишком быстро.

Я лежу на топчане, смотрю в потолочный накат и вижу это, не глядя. У меня в прошлой жизни была военно-врачебная комиссия раз в год двадцать восемь лет подряд. Я знаю все способы. Я знаю про ладонь, которая прикрывает не тот глаз, про щель между пальцами, про заученную наизусть третью строчку, про подсмотренную снизу карточку. Я сам однажды в пятьдесят два года сдал зрение за счёт того, что запомнил порядок букв в кабинете, и потом полгода не мог решить, горжусь я собой или нет.

Лида кладёт картон на колени и смотрит на Тимкину ладонь.

— Товарищи, — говорит она, не повышая голоса, — вышли все. Иванов, ты тоже.

— Я лежу.

— Ты встал и вышел.

Я встаю, опираясь на край топчана, и выхожу. За мной, ворча, выбирается Федя, придерживая правый локоть у груди, и последним — Литвинов с поднятой рукой.

Мы стоим втроём на солнце у входа. За занавеской слышно ровное Лидино «теперь другой», «не торопись», «сведи за пальцем, голову не поворачивай», и Тимкины односложные ответы. Потом там надолго замолкают.

— Всё-таки двоит, — говорит Литвинов.

— Двоит, — соглашаюсь я.

— Он ночью работал.

— Работал. И сделал всё, что надо. А сейчас он хочет, чтобы ему разрешили работать и вечером, поэтому читает наизусть.

Федя переминается и смотрит в землю.

— Он и вправду быстро читал.

— Он читал ту строчку, которую видит правым, — говорю я. — Вслепую, по памяти.

Занавеска отходит, и Лида зовёт нас обратно. Тимка сидит на том же табурете, красный до ушей, и очень старательно смотрит в стену.

— Журавлёв, — говорит Лида ровно, — повтори командиру то, что сказал мне.

Тимка сглатывает.

— При быстром переводе взгляда двоит. Особенно если сначала далеко, потом близко на бумагу. Правым вижу нормально, левым хуже к краю.

— Сколько держится?

— Пока... пока не остановлю голову и не подожду.

— Сколько ждать?

— Секунды три. Иногда пять.

Лида кивает мне.

— Вот с этим и работаем. Резких переводов взгляда нет. Чтение мелкого — нет. Тетрадь на коленях — нет. Наблюдение ровным сектором, голова в одном положении — можно. Слух — сколько угодно, слух у него в порядке.

— Товарищ военфельдшер, — говорит Тимка, — а в кабину?

— В кабину — нет.

— Я же не глазами радио слушаю.

— Ты глазами шкалу ловишь, частоту ставишь, часы смотришь, в окно смотришь и обратно на шкалу, — говорит Лида. — Пятьдесят раз в час. Из них у тебя тридцать раз будет два изображения по три секунды. Скажи мне, в какую из этих трёх секунд по вам зайдёт истребитель?

Тимка молчит.

— Осмотр через двенадцать часов и завтра утром, — говорит Лида и записывает. — Если сойдётся быстрее, диапазон расширю. Если нет, тогда поговорим о другом.

— Понял, — говорит Тимка и добавляет очень тихо: — Я не думал, что вы заметите.

— Я на это и рассчитывала, — отвечает она.

Федю она берёт вторым. С ним всё проще и потому хуже.

— Куртку.

Федя берётся за пуговицы левой рукой и справляется за полминуты. Потом наступает та часть, где куртку надо снять, и правое плечо должно уйти назад.

Он тянет, поднимает левое плечо, наклоняется, пробует вывернуться — и застревает, стоя посреди землянки в наполовину снятой куртке, как человек, которого поймали сетью.

Тимка встаёт помочь.

— Сядь, — говорит Федя сквозь зубы.

— Да я только рукав придержу.

— Сядь, я сказал!

Тимка садится. У Феди на скулах ходят желваки, и не от боли — я вижу, что не от боли.

Лида подходит сзади, берётся за воротник и говорит буднично:

— Не двигайся. Сейчас я сниму с тебя куртку, а ты будешь стоять и считать до десяти.

От тебя никакой работы не требуется.

— Я сам.

— Ты сам уже сделал всё, что мог. Одна попытка на сегодня — израсходована.

Она снимает рукав с больной стороны так, что плечо почти не двигается: рукав уходит сначала вниз, потом вперёд. Федя всё-таки коротко шипит.

— Раздевать буду я или Зоя, — говорит Лида. — Не товарищи. Понял?

— Понял, — он стоит красный и злой. — Я не барышня, товарищ военфельдшер.

— Барышня, — соглашается она. — Двадцать лет, плечо после удара о турельный кронштейн, сустав держится на воспалении и упрямстве. Ложись.

Она осматривает его долго. Я смотрю на Федино плечо, на синеву, уползающую под лопатку, и на его лицо, которое честно старается ничего не выражать, и вспоминаю то, о чём здесь нельзя говорить вслух.

У меня было такое плечо. С восемьдесят девятого года. Правая рука тридцать лет не заводилась за спину, и я тридцать лет подавал в разворот не руку, а спину, и никому, кроме своего врача, об этом не рассказывал, потому что рассказывать — значит списываться. Я помню, как в сорок лет сам не мог снять куртку и злился на жену, которая подходила помочь, и как она, ни слова не говоря, стала вешать мои куртки на низкий крючок, чтобы я мог их снимать, не поднимая руки.

Тому плечу сейчас неоткуда взяться. Оно осталось там, вместе со всем остальным. А это, чужое и молодое, лежит сейчас передо мной на топчане, и у него ещё есть шанс.

— Костенко, — говорю я.

— Я.

— Знал я одного человека, который двадцать лет не заводил правую руку за спину, потому что однажды решил потерпеть и не сказать врачу.

— И что?

— И двадцать лет мучился с курткой: надеть ещё мог, а снять без помощи — никак. — Федя фыркает. — Смешно. А теперь скажи мне, стрелок: ты ленту на нижней установке в перчатке левой рукой перезарядишь?

— Перезаряджу, — говорит он сразу. — Медленнее.

— Насколько медленнее?

Он думает честно.

— Вдвое.

— Вот с этой цифрой и живём, — говорю я. — Пока плечо не станет как было, у нас ты работаешь вдвое медленнее, а значит, в бою ты не работаешь. Я тебя туда таким не повезу.

— Так я ж...

— Ты ж, — соглашаюсь я. — И я бы полез. И меня бы за это правильно посадили на землю.

Лида кладёт ему руку на здоровое плечо.

— Сутки покоя. Петля не снимается ни для еды, ни для гордости. Завтра проба, потом решим. Правой рукой — ничего тяжелее ложки.

— А лопату?

— Особенно лопату.

Литвинов подставляет руку сам, не дожидаясь. Лида распускает повязку, и я впервые за сутки вижу эту кисть без бинта.

Она отёкшая до середины пальцев, кожа натянута, ладонь тёмная от старого кровоподтёка, и от мизинца вверх идёт зелёно-жёлтая полоса. Литвинов смотрит на неё сверху отстранённо, как на чужую работу.

— Пальцы, — говорит Лида.

Он шевелит. Первые два идут почти нормально. Средний — с задержкой. Безымянный и мизинец делают вид, что стараются.

— Чувствуешь?

— Чувствую везде. Здесь — как через варежку.

— Ночью пользовался?

— Один раз хотел придержать карту. Остановился.

— Не соври мне сейчас, — говорит Лида. — Это не для приказа. Это чтобы я знала, надо ли завтра резать.

Литвинов поднимает на неё глаза.

— Один раз, — повторяет он. — Поймал край, когда самолёт тряхнуло. Держал секунду, может две. Больше нагрузки не давал.

— Вот теперь верю.

Она моет кисть, меняет повязку, укладывает иначе — так, что большой палец отведён, и вся ладонь лежит в некоторой ленивой раскрытости.

— Рука выше локтя. Планшет, карандаш, циркуль — правой.левой не держать даже кружку. Осмотр через шесть часов, повязка сменится ещё раз к ночи. Решение о работе — завтра.

— Я карту вести могу, — говорит Литвинов. — Правой веду со вчерашнего дня.

— Можешь, — соглашается Лида. — Поэтому и говорю про шесть часов, а не про неделю. Со мной она оставляет напоследок и не тратит слов.

— Сапог.

Я стаскиваю сапог с помощью здоровой ноги и рук, и это занимает у меня столько времени, что Федя на соседнем топчане начинает демонстративно смотреть в потолок.

Колено отёкшее, горячее, на внешней стороне синяк, взявшийся за ночь в полную силу — жёлто-багровый, с рваным краем. Лида берёт ногу двумя руками и ведёт по диапазону, который сама назначила вчера.

— До этого места болит?

— Тянет.

— А тут?

— Больно.

— Разгибаем.

Я разгибаю. На последних градусах в колене что-то коротко сдаёт — не боль даже, а внезапное ощущение пустоты, будто под опорой убрали одну доску. Нога дёргается сама.

— Вот это, — говорит Лида. — Вот это мне и нужно было увидеть.

— Это усталость.

— Это провал опоры. Утром после первой посадки его не было, после второй он появился. Я тебе вчера дала диапазон, ты его не превысил, и всё равно сустав отвечает хуже. Значит, дело не в одном движении, а в том, сколько раз ты его повторил.

— Лида. Мне сегодня ночью...

— Тебе сегодня ночью — нет.

Она садится на край топчана и говорит это без всякого торжества, ровно, глядя мне в лицо:

— Кабина закрыта до повторной функциональной пробы. Проба будет не «как ты себя чувствуешь». Проба будет такая: пройдёшь назначенное расстояние без опоры на человека, сядешь в неподвижную кабину и полностью отработаешь педали в обе стороны до упора, и на последних движениях опора не провалится ни разу. Провалится — пробу не сдал.

— А если сдам?

— Тогда полетишь. Я тебе ногу не привязываю и привязывать не буду: тебе ею работать. Я лежу, смотрю на неё снизу вверх и очень хорошо понимаю, что происходит.

Она сейчас забирает у меня ночь. Может быть, две. И делает это единственным способом, который я не могу оспорить: называет условие, а не запрет. Со мной так уже поступали. Правда, тогда мне было пятьдесят пять, я был полковник, и врач полка называл мне условия через стол, и я подписывал, потому что знал, что иначе он подпишет что-нибудь другое и это будет хуже.

Я поворачиваю голову.

Тимка смотрит на меня. Федя смотрит на меня. Литвинов делает вид, что рассматривает потолок, но он тоже смотрит.

Они ждут, что я скажу. Я — командир, и если я сейчас начну торговаться за свою ногу, то завтра они начнут торговаться за плечо, глаз и кисть, и через неделю у меня будет экипаж из четверых людей, которые в воздухе врут друг другу о своём состоянии.

— Принято, — говорю я. — Проба когда?

— Вечером первая, — говорит Лида. — И имей в виду: до пробы ты ходишь с санитаром или с палкой. Выбери.

— С палкой.

— Так и знала.

Зоя приносит мне палку — кривую, вырезанную из можжевельника, отполированную множеством чужих ладоней. Я беру её и чувствую себя ровно на свои настоящие пятьдесят пять.

Гордеев приходит, когда Лида дописывает свои листки.

Он входит, оглядывает нас — лежащих, сидящих, перевязанных — и в его лице очень ясно читается вопрос, ради которого он пришёл: экипаж, товарищ военфельдшер, к ночи готов?

— Товарищ капитан, — говорит Лида, не дав ему открыть рот. — Четыре человека, четыре разных срока. Журавлёв: осмотр через двенадцать часов и завтра утром, до тех пор наземная работа без быстрых переводов взгляда и без мелкого чтения. Костенко: сутки покоя, завтра проба плеча, правой рукой ничего тяжелее ложки. Литвинов: осмотр через шесть часов, повязка меняется вечером, решение завтра, работа правой рукой разрешена. Иванов: кабина закрыта до функциональной пробы, первая проба сегодня вечером.

Гордеев слушает, глядя в пол.

— Кого-нибудь списываешь?

— Никого.

— Кого-нибудь могу взять сегодня?

— Всех четверых, — говорит Лида. — На землю. С ограничениями, которые я назвала.

Он поднимает голову.

— Мне ночью нужен экипаж.

— Ночью у вас будет экипаж, — говорит Лида. — Только не этот. А этот у вас будет через сутки или двое, целиком, а не по кускам. Выбирайте, товарищ капитан, я вам обе цифры дала.

Я успеваю поймать её взгляд и мысленно снимаю фуражку. За эти два предложения в прошлой жизни я бы взял человека к себе в штаб и держал бы обеими руками.

Гордеев садится на табурет у входа — тяжело, как садятся, когда с четырёх утра на ногах.

— Карта.

Литвинов достаёт планшет правой рукой и подносит его к моему топчану. Я сажусь, оставив больную ногу вытянутой, принимаю карту на колени. Гордеев придвигает табурет так, что его сапог задевает ножку топчана.

— Вот, — говорю я, придерживая карту за сгиб. — Сброс произведён по прицелу в назначенном промышленном районе. Точка, время, курс и высота — здесь. Наблюдали несколько вспышек, затем огонь и дым, дым потянуло вот в эту сторону. Уход на этом курсе, отметки боя с прожекторами и зенитным огнём по маршруту — вот.

Гордеев ведёт пальцем по карте.

— Что поражено?

— По промышленному району отработали. Результат удара требует контроля.

Он поднимает на меня глаза.

— Иванов. Мне это в сводку так и писать?

— Да.

— Штаб ждёт от меня формулировку.

— Штаб получит точную формулировку, — говорю я. — Она даже лучше неточной, потому что по ней можно работать дальше.

— По «не подтверждён» нельзя работать дальше. По «не подтверждён» меня спросят, зачем мы туда летали.

— Тогда давайте я вам скажу, что мы видели, а вы решите, как это называется, — я разворачиваю к нему участок карты с отметками пожаров. — Первое: после сброса мы увидели несколько вспышек в районе подходов. Второе: там были огонь и дым, но огни на земле мы видели и до нашей команды. Какие занялись от наших бомб, с уходящего курса не отделили. Третье: дым закрыл часть рисунка раньше, чем мы смогли проверить отдельные корпуса. Сам район Литвинов опознал по воде, рельсовым подходам и времени, а не по пожару. Это у нас есть. Подтверждённого разрушенного цеха — нет.

— Это и есть промышленный район.

— Это и есть промышленный район, — соглашаюсь я. — А вот что это был за корпус, цех или склад — я вам с четырёх тысяч ночью не скажу, и никто не скажет. Для этого нужен снимок или дневной проход разведчика.

Гордеев молчит, глядя на карту. Я знаю, что он сейчас делает: примеряет мою формулировку к телефону, к тому человеку на другом конце провода, к слову, которое от него ждут.

— Товарищ капитан, — говорю я тише. — Если мы сегодня напишем «объект уничтожен», завтра нам скажут не ходить туда второй раз. А если корпус стоит, то через неделю оттуда снова пойдёт то, ради чего мы летали, и следующий экипаж пойдёт на цель, которую у нас в бумаге уже нет.

— А если мы напишем, как ты говоришь, нас пошлют туда второй раз.

— Пошлют, — говорю я. — И правильно. Только уже с разведкой.

Гордеев складывает карту — правильно, по сгибам, как складывает человек, который сам когда-то её вёл.

— Ладно, — говорит он. — Пишу твоими словами. Сброс по прицелу в назначенном промышленном районе. Наблюдались вспышки, огонь и дым; поражение конкретного объекта не подтверждено, требуется контроль. И если меня за это будут есть, я скажу, что это доклад экипажа.

— Это и есть доклад экипажа.

— Вот и хорошо. — Он встаёт, застёгивает ворот и уже у выхода говорит через плечо: — Ковалёва. Твои листы принеси мне через час, я их подошью к сводке. Чтоб потом никто не спрашивал, почему у Иванова экипаж на земле.

Занавеска падает за ним. В землянке становится тихо, и Тимка говорит в потолок:

— Значит, ночью летят другие.

— Значит, другие, — отвечаю я.

— На нашей?

— Если Плешаков сдаст машину, то на нашей.

Федя поворачивает голову на подушке.

— Командир. Обидно.

— Обидно, — соглашаюсь я. — А теперь скажи, что тебе обиднее: что на «тринадцатом» полетит чужой экипаж или что он полетит на непроверенном моторе?

Федя думает.

— Второе.

— Вот и мне второе.

Лида отпускает нас не сразу: сначала Зоя разносит по кружке кипятка с чем-то травяным, от чего у Феди делается подозрительное лицо, потом Литвинову меняют положение руки на подушке, потом приходит какой-то моторист с рассечённой бровью, и мы перестаём быть главными людьми в этой землянке.

Тимку и Федю Лида укладывает спать. Меня — нет.

— Ты всё равно не уснёшь, пока не сходишь к машине, — говорит она, не поднимая головы от своих листов. — Сходи и вернись. Час дам.

— Полтора.

— Час. С палкой.

До капонира я иду восемь минут и трижды останавливаюсь, делая вид, что смотрю на полосу. На полосе действительно есть на что смотреть: сапёры перекидывают грунт из отвала в старую воронку, подводы возят камень, двое мальчишек-краснофлотцев крутят каток, и всё это движется медленнее, чем хочется всякому, кто на это смотрит со стороны.

В капонире Гурьев на коленях у маслорадиатора выковыривает щепкой из сот спрессованную пыль и сухую траву. Рядом на разостланной газете лежат уже вынутые комья — плотные, войлочные, с вплавленной мошкаррой.

— Много?

— Треть, — не оборачиваясь, отвечает Плешаков. — Не половина. Но треть.

— Сойдёт за причину?

— Не сойдёт. Годится как часть.

Я сажусь на свой ящик и вытаскиваю из планшета тетрадь. Тетрадь дал мне Гурьев — конторская, в клетку, с чужой фамилией на обложке, зачёркнутой химическим карандашом.

Первую страницу я разлиновываю на три столбца и наверху пишу: «что видели — что сделали — что вышло».

Литвинов приходит через четверть часа: он не умеет лежать, когда работает голова. Садится рядом на перевернутое ведро, смотрит на мою разлиновку и молчит ровно столько, чтобы я успел заподозрить неладное.

— Плохо, — говорит он наконец.

— Почему плохо?

— Потому что в первый столбец ты через неделю начнёшь писать не то, что видел, а то, что понял. — Он берёт карандаш правой рукой и ведёт ещё одну черту. — Смотри. «Что видели» — сюда только показания и наблюдения. Температура подошла к черте. Не «мотор грелся». «Мотор грелся» — это уже вывод, и ему место отдельно, в четвёртой графе.

— Ты сейчас у Плешакова слов набрался.

— Я у него не слов набрался, — говорит Литвинов. — Я сегодня утром смотрел, как он тебя об это носом. Приятного мало, но он прав.

Мы сидим и заполняем первую строку, и это занимает у нас двадцать минут, потому что каждое слово приходится оборонять от самих себя. «Видели»: температура головок правого подошла к принятой черте на наборе, время такое-то, высота такая-то, наружный воздух такой-то, остальные показания без изменений. «Сделали»: уменьшили угол, прибавили скорость, открыли жалюзи полностью. «Вышло»: рост остановился через четыре минуты, показание отступило на два деления к седьмой, на боевом и обратном режимах новых признаков не было. В четвёртой, под словом «Вывод», пишем: «Показание отозвалось на изменение режима. Причина подъёма температуры до технической пробы не установлена». Литвинов перечитывает и пододвигает тетрадь ко мне.

— И зачем это? — спрашивает Литвинов, разглядывая получившееся. — Плешаков и так всё записал.

Глава 3



— Плешаков записал мотор. А это — что делал экипаж и что из этого получилось.

— Так мы же помним.

— Мы помним сегодня, — говорю я. — Через месяц у нас будет двадцать таких ночей, и мы будем помнить ту, где было страшнее всего, а не ту, где мы сделали правильно. И молодому в звене я расскажу красивое, а не полезное.

Литвинов молчит, потом кивает.

— Тогда пиши сюда и чужие. Не только нашего борта.

— Чужие нам никто не отдаст.

— Отдадут, — говорит он спокойно. — Если ты сначала покажешь им свою.

К капониру подходит незнакомый мне краснофлотец: тонкая шея, оттопыренные уши, в руках планшетка со шнурком и стопка бумажек.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите? Я от начальника связи. Савченко, сменный радист.

— Разрешаю.

— Мне сказали, вы на частотах с Журавлёвым работаете. А он спит. — Савченко переминается. — Мне на ночь надо таблицу переписать, а там у него свои пометки, и я половину не понимаю.

— Например?

Он показывает лист. Между цифрами у Тимки стоят его собственные значки: где-то галочка, где-то две точки, где-то короткая волнистая черта.

— Вот это что?

Я смотрю. Я не радист, но три года командования научили меня понимать чужие пометки не из содержания, а из поведения человека, который их ставил.

— Это он отмечает, где его глушили, — говорю я. — Волна — значит, в этом часу помеха ходит. Две точки, наверное, слышимость плохая, но была.

— А галочка?

— А галочку спросишь у него самого, когда проснётся. И не переписывай то, чего не понял: перепишешь неправильно и сам себе завтра соврёшь.

Савченко смотрит на меня недоверчиво: он готовился, что его отругают за беспокойство, а не отправят за ответом.

— Товарищ старший лейтенант, а можно я тогда... ну, рядом посижу, когда он работать будет? Я не мешаю. Я просто смотрю, как он на слух берёт.

— Сиди, — говорю я. — Только не молчком. Спрашивай.

Он уходит, прижимая планшетку к груди, и я делаю в своей тетради вторую запись, на другой странице, совсем короткую: фамилию.

Обратно к санчасти я иду дольше, чем туда. Колено к этому времени перестаёт быть отдельной деталью и становится мной целиком.

Я успеваю поспать час, может быть полтора.

Сон приходит мгновенно, как всегда после ночного полёта: тело падает в него, как мешок с песком, и в этом провале нет ни Берлина, ни прожекторов, ни белого кафеля с водой. Есть только тяжесть и глухота.

Будит меня не звук, а рука на плече.

— Товарищ старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант!

Связной, краснофлотец лет девятнадцати, с ремешком бескозырки под подбородком и красным от бега лицом. За его спиной в дверном проёме — прямоугольник дневного света.

— Что? — Я нащупываю край топчана, ещё не понимая, кто меня трясёт.

— К командиру, — связной отнимает руку от моего плеча, переводит дыхание. — Срочно.

Я сажусь, и колено, отдохнувшее и оттого обнаглевшее, отзывается злее, чем утром. Нога у меня лежала на свёрнутой шинели — Зоя, видимо, подложила, пока я спал.

— Говори с места, — говорю я, нашаривая сапог. — Что случилось?

— Береговой пост наш борт слышит. Возвращается, с задания. Мотор у него рывками. Полосу не видит.

Вот это уже разговор.

— Какой пост?

— Который на мысу. «Чайка».

— Когда слышали?

Связной моргает.

— Ну... сейчас.

— Не «сейчас». Во сколько пост передал? Посмотри, у тебя записка есть.

Он вытаскивает из-за обшлага мятый листок и читает, шевеля губами:

— В одиннадцать двадцать шесть.

Я смотрю на часы. Одиннадцать тридцать четыре.

Восемь минут. Восемь минут — это не «сейчас». За восемь минут ДБ-3Ф уходит километров на тридцать, и если он идёт с потерей высоты и без ориентировки, то он сейчас может быть где угодно в секторе шириной в добрых полсотни километров. И половина этого сектора — вода.

— Пошли, — говорю я и беру палку.

На выходе я сталкиваюсь с Лидой.

— Куда?

— Наш борт возвращается. С неисправным мотором и без ориентировки.

Она смотрит на палку, на ногу, на связного.

— Ты в кабину не сядешь.

— Я и не собираюсь. Я нужен на командном пункте.

— Пешком туда десять минут.

— Знаю.

— На телеге три, — говорит Лида. — Сейчас Зоя найдёт ездового. Сядешь так, чтобы нога лежала, а не висела. И если ты за эти три минуты решишь, что тебе надо бежать, я тебя поймаю и привяжу к топчану, и Гордеев мне это разрешит письменно.

— Договорились.

— Журавлёв идёт со мной или с тобой?

Я на секунду задумываюсь. Вот здесь я могу сделать глупость.

— Со мной, — говорю я. — Ему нужен стул в тени, и он не будет читать мелкое. Ему нужны только уши и одно положение головы.

— Хорошо, — говорит она, и от того, как быстро она соглашается, мне становится легче. — Костенко не таскает ничего. Литвинов держит руку выше локтя. Я приду через полчаса и проверю всех троих.

Телега — обыкновенная крестьянская телега с высокими бортами, и лошадь у неё под стать: рыжая, немолодая, с философским выражением морды. Ездовой, пожилой старшина, помогает мне забраться и подкладывает под колено мешок.

— Быстрее можно? — спрашиваю я, когда мы выезжаем на дорогу.

— Можно, — говорит старшина. — Только на этой дороге тряхнёт так, что вам ногу оторвёт.

— Тогда как есть.

Телега идёт вдоль капониров, мимо сетей и свежих воронок. Лошадь никуда не спешит, и в этом есть что-то оскорбительное. Я сижу, держу колено обеими руками, чтобы его не подбрасывало на каждой колдобине, и думаю, что мог бы дойти пешком, и что дошёл бы позже минуты на четыре, и что эти четыре минуты сейчас стоят дороже всего остального, и что злиться на лошадь — самое бессмысленное занятие в мире.

Злюсь.

Тимка идёт рядом с телегой пешком, держа голову ровно, как ему велели.

— Командир.

— Да.

— Если он Кагул слышит, а полосу не видит, это может быть двумя вещами. Или он далеко и слышит нас на дальности, а видит только облака. Или он близко, но смотрит не туда.

— Верно. И мы пока не знаем, какая из двух.

— На дальности слышимость у них обычно...

— Тимка. Не считай в голове на ходу. Сядешь — посчитаем вместе.

Командный пункт у нас — блиндаж на краю поля, с двумя телефонами, картой на фанерном щите и амбразурой, в которую видна полоса. Когда я вхожу, там уже толпа: Гордеев, телефонист, начальник связи, сменный радист Савченко и ещё кто-то из штаба, кого я не успеваю опознать.

Гордеев говорит в трубку:

— ...повторяю, готовность доложу после осмотра. Нет. Нет, не могу. Потому что мотор ещё не запускали. Да. Да, я понимаю, что к восемнадцати.

Рядом с ним стоит незнакомый мне старший лейтенант в новой, не выгоревшей гимнастёрке, с блокнотом, и ждёт цифру. По тому, как он держит карандаш, я понимаю про него всё, что мне нужно: человек приехал за числом, число ему нужно к определённом часу, и всё, что не число, для него шум.

— Сколько бортов? — спрашивает он, едва Гордеев отводит трубку от уха.

— Товарищ капитан, — говорю я. — Освободите телефон.

Штабной поворачивается ко мне первым.

— А вы?

— Иванов. Старший лейтенант. У меня в воздухе свой борт, который нас слышит и не видит.

— Чей борт?

— Наш, — говорю я. — Возвращается с задания, один мотор идёт рывками, ориентировку потерял.

— На него есть кому смотреть, — говорит штабной. — А у меня к двенадцати сводка по готовности.

— К двенадцати у вас в сводке будет на один борт меньше, если мы сейчас пять минут потратим на разговор о том, сколько их будет к восемнадцати.

Он смотрит на меня — на палку, на нечищенные сапоги, на куртку, в которой я летал, — и я вижу, как в нём борются две правильные мысли: что сводку с него спросят и что я говорю дело.

Гордеев решает за него. Он говорит в трубку:

— Перезвоню, — и кладёт её на рычаг.

— Что у тебя?

— У нас в воздухе свой борт, который нас слышит и не видит, — говорю я. — Пока мы обсуждаем ночную готовность, он тратит высоту. Мне нужны три вещи: связь с ним, свежие данные поста и человек, который прямо сейчас видит, что творится на полосе.

— Радиорубка даёт его слабо, — говорит начальник связи. — Приёмник ловит, передаёт он прерывисто.

— Позывной?

— Двадцать седьмой. Командир — лейтенант Ершов.

— Ершов, — повторяет Гордеев и морщится. — Молодой. Второй месяц.

— Штурман?

Савченко поднимает голову от журнала.

— Радист передавал со слов командира: штурман ранен. Поэтому и ориентировку потеряли. Связист у них на месте, работает ключом.

Вот теперь картинка складывается.

Не «потеряли ориентировку» как слабость, а потеряли человека, который её вёл. Пилот второго месяца, один мотор идёт рывками, штурман на полу за спиной, и в наушниках — родной аэродром, который слышно и не видно.

— Савченко, — говорю я. — Записывай не выводы, а слова. Всё, что он передаёт, с временем, дословно. Даже если он повторяется. Даже если это «не вижу». Понял?

— Понял. А зачем дословно?

— Затем, что через час мы захотим понять, что он на самом деле видел, а память у нас будет уже своя, удобная.

Он кивает и переворачивает страницу.

— Тимка, — говорю я. — Твой стул вот здесь, спиной к свету. Ты работаешь ушами, голову держишь в одном положении. Крупные записи делает Савченко под твою диктовку. В тетрадь не смотри.

Тимка садится и надевает наушники. Я вижу, как у него сразу меняется лицо: он уходит в звук, как ныряют.

— Литвинова ко мне, — говорю я связному. — И Костенко. Костенко — к наблюдателю на вышку, пусть смотрит между облаками, и передайте, чтоб ему никто ничего таскать не давал.

— А зачем Костенко на вышку? — спрашивает Гордеев. — У нас там свои наблюдатели.

— У вас там свои наблюдатели, которые узнают силуэт, — говорю я. — А Костенко ночью два часа смотрел в небо из нижней точки и умеет отличить самолёт с раненым мотором от

самолёта, который просто идёт. Он вам скажет не «вижу ДБ», а «идёт с креном, снижается, правый винт медленнее».

Литвинов приходит через четыре минуты и сразу берёт карту в работу. Кисть у него поднята к груди, планшет он прижимает локтем, и работает правой.

— Начальные данные, — говорит он. — Время, место поста, направление, на которое он слышал.

Телефонист диктует. Литвинов кладёт линейку и ведёт сектор — широкий, неприлично широкий, от мыса и дальше в море.

— Плохо, — говорит он. — Тут километров шестьдесят по фронту. И треть — вода.

— Значит, сужаем.

— Нечем. Пост слышал звук, а звук ночью и днём врёт на воде.

— Тогда спрашиваем у него самого.

Тимка поднимает руку, не поворачивая головы.

— Есть двадцать седьмой. Слабо.

— Спроси у него последний надёжный ориентир и время после него, — говорит Литвинов. — Именно так: последний берег, который он узнал наверняка, и сколько минут назад. Не «где вы» — он не знает, где он.

Тимка работает ключом. Он передаёт медленно, короткими группами, потом слушает.

— Отвечает... — Тимка морщится. — Радист отвечает не сразу. Савченко, пиши: «прошли берег с двумя косами», «примерно двенадцать минут», «потом облачность», «курс держали».

— Две косы, — Литвинов склоняется над картой и ведёт пальцем. — Две косы... вот. Или вот. Здесь и здесь. Разница между ними — двадцать восемь километров, и они правда похожи. Но у левой вдоль берега идёт отмель, там вода светлая. Спроси, была ли справа от кос светлая полоса воды.

Тимка передаёт. Пауза тянется.

— Отвечает: «светлая полоса была слева».

Литвинов выпрямляется.

— Тогда это вторая коса, и шёл он не тем курсом, каким думает. Его снесло. — Он быстро прикидывает по линейке. — Двенадцать минут на их скорости с потерей высоты... Сектор сжимается до вот этого. Двадцать километров по фронту.

— Вышка! — кричу я в телефон. — Костенко, слышишь?

Трубку берут не сразу. Потом в ней раздаётся Федин голос — ровный, сосредоточенный.

— Слышу.

— Смотри в направлении от мельницы на мысу вправо, на два пальца от дыма. Между вторым и третьим слоем облаков. Что видишь?

Пауза. Долгая. В блиндаже становится слышно, как скрипит карандаш Савченко.

— Есть, — говорит Федя. — В просвете. Далеко. Наш, двухмоторный. Идёт... идёт с левым креном, снижается медленно. Правый винт... не скажу. Далеко.

— Куда идёт?

— Вдоль берега. Нас проходит стороной. Левее полосы уйдёт.

Вот оно.

— Литвинов, — говорю я. — Он идёт прежним курсом. Он думает, что идёт домой, а идёт мимо.

— И не увидит, — соглашается Литвинов. — Дым сносит на северо-восток, полоса лежит иначе. Он ищет полосу под дымом, а дым сейчас лежит вот тут, в стороне. Он на неё уже смотрел и ничего не нашёл.

Я беру у Савченко карандаш и рисую на его листе три слова. Так у меня в прошлой жизни всегда получалось лучше: сначала написать, потом сказать.

— Тимка. Передаёшь ему одно. Ровно одно. Мельница на мысу — каменная, старая, без крыльев, стоит одна. Пусть возьмёт её под левое крыло и держит. Всё.

— И ещё? — спрашивает Тимка.

— И ещё одно предупреждение: не принимать дым за ось полосы. Дым в стороне.

— А курс дать?

— Курс дадим, когда он подтвердит, что видит мельницу, — говорю я. — Иначе мы ему сейчас положим в голову три цифры, он запомнит одну и повернёт не туда.

Тимка передаёт. Я смотрю на его лицо и вижу, как у него ползёт вверх бровь — он ловит ответ раньше, чем успевает продиктовать Савченко.

— Отвечает... — говорит он и вдруг замолкает. — Стоп. Это не он.

— Что?

— На частоте второй. Тридцать первый. — Тимка морщится, левый глаз у него дёргается. — Забил всё. Они оба работают.

Вот этого нам и не хватало.

Эфир — это узкая доска над водой. Двое на ней не помещаются.

— Кто такой тридцать первый?

— Наш, — говорит Савченко, не поднимая головы от журнала. — Тоже с задания идут. У них радист Вершинин, я его почерк знаю.

— Повреждения?

— Не докладывали.

— Тимка, что он передаёт?

— Запрос посадки. Настойчиво. — Тимка держит голову неподвижно, и у него на скуле проступает пот. — И... командир, он принял на себя. Он думает, что мельница — ему.

— Он не мог принять на себя, там позывной был.

— Он слышит куски, — говорит Тимка. — Мы слабо идём. У него куски.

И тут же, без паузы:

— Двадцать седьмой повторяет: «вижу ориентир, беру влево». Но он... — Тимка сглатывает. — Он берёт не влево, он повторяет чужое. У него в эфире две команды подряд.

— Костенко! — кричу я в телефон. — Что делает?

— Довернул, — Федин голос напряжённый. — Довернул... не туда. Уходит мористее. Командир, он уходит от нас.

В блиндаже наступает та особая тишина, в которой все смотрят на одного человека.

Ему двадцать четыре года, он сидит на табурете спиной к свету, у него двоится в глазах при быстром переводе взгляда, и он единственный, кто сейчас может что-то сделать.

— Тимка, — говорю я.

— Вижу, — отвечает он, и это неправда, он не видит, он слышит, но я понимаю, что он имеет в виду.

Он снимает одну чашку наушника с уха, чтобы слышать нас, и говорит быстро и очень чётко:

— Савченко. Пиши крупно на листе: «31 — ждать». Покажешь мне, я буду смотреть, не читая. Второй лист: «27». И держи оба перед собой, не убирай.

— Есть.

— Товарищ старший лейтенант, — Тимка поворачивается ко мне всем корпусом, не только головой. — Я развожу их по времени. Тридцать первому — ожидание. Двадцать седьмому — короткий сеанс, и я потребую повтор только принятого. Разрешаете?

— Разрешаю.

— Мне тридцать первый будет ругаться.

— Пусть ругается.

Тимка возвращает наушник и работает ключом — короткими, злыми, очень разборчивыми группами.

Ответ приходит быстро и сердито. Я вижу это по тому, как у Тимки дёргается угол рта.

— Тридцать первый спрашивает, кто ему запрещает, — говорит он. — Дословно: «по какому праву». И ещё раз запрашивает посадку.

— Ответь, что...

— Не надо, товарищ старший лейтенант, — Тимка говорит это, не оборачиваясь, и в его голосе нет ни грамма дерзости, только скорость. — Если я сейчас начну ему объяснять, кто я и кто он, мы на этом потеряем ещё минуту. Я ему не про право. Я ему про время.

Он работает ключом.

— Передал: «Тридцать первый, ожидание пять минут, причина — аварийный борт, работа с вами в одиннадцать сорок семь». С временем они всегда соглашаются легче, чем с запретом.

— А если не согласится?

— Тогда он будет сидеть и злиться, но не будет говорить, — отвечает Тимка. — Ему нужно знать, когда его услышат. Пока не знает — он будет звать.

Он тянется за тетрадь, чтобы отметить время, и я вижу, как он останавливается на полудвижении: перевёл взгляд с шкалы на бумагу слишком быстро, и бумага у него поплыла. Он замирает, ждёт положенные три секунды, и эти три секунды в блиндаже длятся примерно год.

— Савченко, — говорит Тимка, не поворачивая головы. — Пиши за меня. Время — одиннадцать сорок два. Под диктовку. И листы держи там, где я их вижу, не поднося к лицу.

Савченко подхватывает карандаш и пишет крупно, печатными, как пишут для плохо видящих.

— «31 — ждать до 47», — читает он вслух. — «27 — работаем».

— Так. Теперь не убирай.

Начальник связи наклоняется ко мне.

— Тридцать первый по званию может быть старше.

— В эфире сейчас старше тот, у кого горит, — говорю я. — А у тридцать первого не горит, он просто хочет сесть первым.

Через полторы минуты Тимка диктует, глядя в стену:

— Тридцать первый: «почему ожидание». Савченко, запиши дословно. Отвечаю ему: «аварийный борт на частоте, работать в одиннадцать сорок семь, повторяю: в сорок семь». Повторил назначенное время, чтоб не сидел как в темноте.

— Правильно.

— Двадцать седьмой... — Тимка ждёт. — Есть. Принял. Повторяет: «мельница каменная, без крыльев, беру под левое крыло». Повторяет верно.

— Костенко!

— Ложится обратно, — говорит Федя в трубку, и я слышу, как у него меняется дыхание. — Медленно. Довернул. Идёт на нас.

Литвинов, не отрываясь от карты, ставит отметку.

— С учётом доворота и потери — он у нас будет через одиннадцать-двенадцать минут.

— Тимка, спроси у него высоту и как держит.

Тимка передаёт. Ответ приходит не сразу — и не потому, что плохо слышно. Пауза длинная, тяжёлая, человеческая.

— Отвечает, — говорит Тимка. — «Тысяча двести. Правый даёт рывками, падает тяга. Высоту держу с потерей. Штурман плох».

Я смотрю на часы и на карту и в первый раз за сегодняшнее утро по-настоящему понимаю, сколько там у Ершова осталось.

Не в минутах — в голове. Радист на ключе может передать быстрее. Но ему ещё надо получить ответ от Ершова, а тот держит машину. По этим паузам я слышу, как мало у пилота остаётся на наш разговор: короткая фраза — и снова вся работа руками и ногами.

Глава 4



— Слушайте все, — говорю я громко. — Ершову больше никаких цепочек. Ни «сделай то, потом это, а если не выйдет — третье». Одно указание. Одно. Каждый раз одно. Тимка, передавай радисту только то, что я скажу дословно, и требуй подтверждения командира.

— Есть.

— И ещё. Никаких «молодец», «держись», «мы с тобой». Он это слышать будет, но выполнить не сможет, а место в голове займёт.

Савченко поднимает глаза от листа.

— Товарищ старший лейтенант, а если... ну, поддержать?

— Поддержим, когда сядет, — говорю я. — Сейчас мы ему поможем тем, что ничего лишнего не скажем.

Гордеев всё это время стоит у амбразуры. Теперь он поворачивается.

— Иванов. Он идёт к нам. А к нам он сесть не может.

— Что с полосой?

— Пойдём посмотрим, — говорит он.

Полоса выглядит хуже, чем звучала.

От блиндажа до неё сто пятьдесят шагов, я прохожу их с палкой, и Гордеев, надо отдать ему должное, не идёт быстрее, чем я могу.

Прежняя посадочная ось перерезана. Воронка не самая большая из тех, что я сегодня видел, но лежит она поперёк, ближе к середине, и в неё уже свалено сколько-то грунта — недостаточно. Рядом стоит трамбовка, и двое краснофлотцев бьют деревянной бабой.

Обход — тот самый боковой проход, которым мы садились утром, — начинается правее. Он готов, но не до конца: последние метров сто идут по непрокатанной, только что засыпанной земле, и на этих ста метрах поперёк стоит телега с грунтом, а рядом суетятся люди с лопатами.

Сапёрный лейтенант — фамилия Ремизов, лицо серое от пыли, губы обветрены — докладывает Гордееву, держа в руке обломок рейки вместо указки.

— Ось перерезана вот здесь. Забиваем, но до вечера. Проход правее готов на две трети. Последние сто метров засыпаны, не прокатаны. Телегу уводим.

— Сколько на телегу? — спрашиваю я.

— Минуты три. Лошадь распрягли, она в яме застряла колесом.

— Тягачом?

— Тягачом минута.

Ремизов приседает и чертит рейкой прямо по земле — быстро, уверенно, как чертит человек, который эту землю сегодня всю прошёл ногами.

— Вот старая ось. Вот воронка, поперёк, глубина по пояс, засыпано на треть. Вот проход, правее, ширина — восемь метров по вешкам. До этого места он прокатан дважды и держит, я по нему утром гружёный тягач гонял. Отсюда и до конца — свежая засыпка, слоями, сверху подсыпали и не били.

— Что на самом проходе прямо сейчас? — спрашиваю я.

Он тычет рейкой в три точки.

— Телега с грунтом — вот, поперёк. Трамбовка — вот, посередине. Люди — вот здесь и здесь, две бригады, человек двенадцать. И у дальнего края лежат лопаты и носилки под землю, их просто бросят, если побегут.

— Лопаты не страшно, — говорю я. — Лопата под колесом — это лопата. А носилки на палках он поймает и перевернётся.

— Уберём.

— Ещё одно. Куда пойдёт санитарная машина?

Ремизов смотрит на свой чертёж и морщится.

— По той же дороге, где телега.

— Значит, телегу увести не к краю прохода, а дальше, за бочки. Иначе полуторка упрётся ей в задок, и ваши четыре минуты мы потом будем толкать руками.

— Понял.

Гордеев смотрит на часы.

— Ремизов, работы прекратить, людей с полосы убрать. Иванов, передавай: садиться сразу, как подойдёт. Пока у него мотор живой.

Вот это и есть та секунда, ради которой я здесь.

— Нет, товарищ капитан, — говорю я.

Он поворачивается ко мне, и в его лице нет злости, а есть усталость человека, который принял уже двадцать решений с четырёх утра и хочет, чтобы двадцать первое приняли за него.

— Объясняй.

— Объясняю конкретно. Он подойдёт через девять минут. Через девять минут проход не будет расчищен: телега поперёк, две бригады с лопатами на полосе, трамбовка посередине, тягач ещё не подошёл. Если мы сейчас скажем «садись сразу», он придёт на то, что видит: на старую ось, потому что она шире и по ней проще целиться. На старой оси — воронка. Он её на пробеге найдёт обязательно.

— А если пойдёт по проходу?

— По проходу — по непрокатанному концу и по людям, которые ещё не успеют уйти. Он не будет их разглядывать, товарищ капитан. Он будет держать машину.

Гордеев молчит.

— Мотор у него живой ещё сколько? — спрашивает он наконец.

— Вот это и есть вопрос, — говорю я. — И ответ на него знает только он.

— Так спроси.

— Спрошу.

Мы возвращаемся в блиндаж, и я диктую:

— Тимка. Одно. «Двадцать седьмой, доложи: тяга правого держится или падает, высоту удерживаешь или теряешь». Дословно.

Тимка передаёт. Опять пауза.

— Отвечает: «Тяга есть, слабая. Высоту держу почти. Теряю медленно».

— Ещё одно, — говорю я. — «Двадцать седьмой, можешь ли пройти круг над водой семь минут».

Пауза короче.

— Отвечает: «Могу. Пять-семь».

Я выпрямляюсь и смотрю на Гордеева.

— Есть время. Не много. Пять минут — наш потолок, не семь.

— Ремизов, — говорит Гордеев. — Что за четыре минуты?

Сапёр думает, глядя не на нас, а на поле. Это правильный взгляд. Он считает не по желанию начальства, а по земле.

— За четыре — уберу телегу тягачом, сниму людей и обозначу проход вешками, — говорит он. — Прокатать последние сто метров не успею. Совсем не успею.

— Что там будет?

— Мягко, — говорит Ремизов. — Свежая земля, слоями, сверху подсыпано. Колесо пойдёт, но будет вязнуть. И к самому концу — хуже всего, там мы сегодня яму брали.

— То есть он сядет и его на последних метрах утащит.

— Может и утащить, — соглашается Ремизов. — А может и нет. Я вам ровной полосы за четыре минуты не сделаю, товарищ капитан. Я вам за четыре минуты сделаю чистый проход с мягким концом. Это всё, что у меня есть.

В блиндаже становится тихо.

Я смотрю на Гордеева и не тороплю. Это его приказ и его подпись. У меня в прошлой жизни был начальник, который в такие минуты говорил «решай сам», и я потом двадцать лет вспоминал его недобрым словом, потому что «решай сам» — это не доверие, это увиливание.

Гордеев не увиливает.

— Так, — говорит он. — Ремизов, четыре минуты, я засекаю. Телега, люди, вешки. Прокатку не начинать, а то мы её на половине бросим и будет хуже. Мягкий конец обозначить отдельно — чем хочешь, хоть шинелями.

— Есть.

— Иванов. Круг над водой пять минут. Не семь. Передавай.

— Товарищ капитан, — говорю я. — И ещё одно. Ему надо сказать про мягкий конец.

Гордеев смотрит на меня.

— Ты понимаешь, что ты сейчас ему в голову кладёшь?

— Понимаю.

— Ты ему кладёшь мысль о том, что полосы у него нет.

— Я ему кладу правду, — говорю я. — Если он придёт сюда, думая, что садится на нормальный проход, он построит заход под нормальный проход: пойдёт с запасом, сядет с перелётом, будет тормозить в конце. И там его порвёт. А если он будет знать, что конец мягкий, он сядет раньше, у самого начала, и у него будет лишних сто метров твёрдого.

Гордеев соображает две секунды. Он хороший командир, ему хватает двух секунд.

— Передавай, — говорит он. — И чтоб повторил.

И тут же, через плечо, телефонисту:

— Запиши в журнал. Одиннадцать сорок шесть. Решение принял я: аварийному борту круг над водой пять минут, посадка на боковой проход, о непрокатанном конце экипаж предупреждён. Работы на полосе прекращены по моей команде. Так и запиши — по моей.

Телефонист пишет. Я смотрю в стену и не показываю лицом ничего, потому что показывать нечего: капитан только что сделал ровно то, чего я от него ждал и о чём не имел права просить. Он не отдал мне решение и не спрятался за меня. Через неделю, когда это будут разбирать, спросят его, и он ответит своими словами.

У меня в прошлой жизни были командиры, которые в такую минуту говорили: «Ну, ты же лучше знаешь». После чего в бумаге появлялась фамилия того, кто знал лучше, а не того, кто приказал.

— Товарищ капитан, — говорю я тихо.

— Что?

— Ничего. Работаем.

Тимка работает ключом. Я стою у него за спиной и вижу, как он неловко ищет пальцем строку на листе Савченко — глаза не дают, — и как Савченко молча пододвигает лист ближе и подчёркивает нужное ногтем.

— Передал, — говорит Тимка. — «Круг над водой пять минут. Заход на проход правее старой оси. Конец прохода мягкий, садиться в начале». Жду повтора.

Пауза.

— Повторяет. — Тимка слушает, и вдруг лицо у него делается странным. — Повторяет всё. И добавляет своё.

— Что добавляет?

— «Понял мягкий конец. Штурман без сознания. Прошу врача к полосе».

Я поворачиваюсь к связному.

— К Ковалёвой. Скажи: на борту раненый штурман, без сознания, посадка примерно через семь минут, проход правее старой оси.

— Есть!

Связной вылетает наружу.

— Костенко! — в телефон. — Где он?

— Над водой, — говорит Федя. — Разворачивается влево. Широко. Ему тяжело.

— Держи его глазами. Если начнёт снижаться раньше времени — скажешь сразу.

— Понял.

В трубке слышно, как Федя объясняет наблюдателю, какой просвет держать. Тот повторяет направление, потом докладывает уже сам: машина всё ещё над водой.

— Костенко, передай ему трубку. Сам спускайся к ближним вешкам, помоги сигнальщикам определить сектор. Только спокойно, левой держись за перила. Воздух теперь держит наблюдатель.

— Передал. Иду.

Четыре минуты — это очень много и очень мало.

Я выхожу из блиндажа и встаю с палкой у края поля, потому что отсюда видно всё сразу, а по телефону половину теряешь.

Первым идёт тягач. Плешаков сам за рычагами — увидел, бросил мотор и пришёл, и я даже не знаю, когда ему успели сказать. Тягач подползает к телеге, двое краснофлотцев цепляют трос, Плешаков высовывается из кабины и что-то кричит; телега дёргается, колесо выходит из ямы с чавканьем, и весь этот воз с грунтом ползёт вбок, к краю поля.

Он уводит его дальше, чем нужно. Я сначала не понимаю, зачем, а потом вижу: он освобождает не только проход, но и дорогу от санчасти, по которой пойдёт полуторка с красным крестом. Если бы он бросил телегу у края, машина потом упёрлась бы в неё носом.

Федя стоит у ближней вешки с сигнальщиком. Правая рука у него в петле, и он честно её не трогает: показывает левой.

— Оттуда! — слышу я его голос. — Вот от того куста и до бочки — сектор твой. Отсюда никто не выходит. Если побегут — свисти и маши, но сам не лезь. Понял?

— Понял.

— Теперь передай дальше своему. Не я передаю, ты передаёшь. Чтоб он от тебя услышал, а не от чужого.

Сигнальщик бежит вдоль поля.

Я стою и смотрю, как эта штука работает.

Федя не отдаёт приказ всем сразу. Он отдаёт его одному человеку и заставляет того передать следующему. Так делают, когда людей много, а голоса мало. Я не учил его этому. Он придумал сам, стоя тут с рукой в петле, потому что бегать вдоль всего поля и кричать он сегодня не может.

Иногда ограничение — это лучший учитель, чем командир. Жаль только, что учит оно дорого.

Проверка приходит через полминуты, как всегда приходят проверки: сама, некстати и в лице человека, который ни в чём не виноват.

От дальнего края прохода отделяется фигура и бежит обратно на полосу. Бежит уверенно, деловито, наклонив голову, — так бегут не в панике, а за нужной вещью.

Сигнальщик свистит. Фигура не останавливается.

— Куда! — орёт Федя и делает полшага вперёд, и я вижу, как он рефлекторно дёргает правую руку и как петля ловит её на месте. — Стой!

Краснофлотец останавливается посреди прохода и разводит руками: там, у вешки, остался его вещмешок, и в вещмешке, судя по лицу, лежит что-то, ради чего он готов спорить с авиацией.

Я делаю то единственное, что могу сделать с края поля, опираясь на палку: набираю воздуха.

— Краснофлотец! Ко мне! Бегом!

Он оборачивается на голос и — привычка сильнее всего — бежит ко мне, к человеку с командирским голосом, прочь с полосы. Добегает, останавливается, вытягивается.

— Фамилия?

— Мищенко.

— Мищенко, что в мешке?

— Сапоги, товарищ старший лейтенант. Новые. Я их с весны...

— Сапоги, — говорю я. — Сейчас сюда придёт самолёт весом в семь тонн и сядет на этот мешок вместе с сапогами. Хочешь посмотреть?

Он молчит.

— Встань вон там, за бочку. После посадки мешок тебе принесут, если от него что-нибудь останется. А если ты сейчас пойдёшь за ним и тебя там размажет, я буду писать твоей матери, что ты погиб за обувь.

— Виноват.

— Иди.

Он уходит за бочки. Федя смотрит на меня через поле, и мне отсюда видно, как ему стыдно — не за Мищенко, а за то, что он его не догнал.

— Костенко! — кричу я. — Правильно не побежал!

Он машет левой.

Лида появляется со стороны санчасти, и с ней двое санитаров с носилками и Зоя с сумкой. Она останавливается на середине поля, смотрит на проход, на вешки и на мягкий конец, обозначенный чьей-то расстеленной плащ-палаткой, и начинает делить своих.

— Ты и ты — сюда, к этому краю. Это где он должен остановиться, если сядет как сказано. Зоя — со мной, туда, к твёрдому.

— Товарищ военфельдшер, — говорит санитар, — а если он не туда?

— Тогда мы к нему побежим, — отвечает Лида. — Но все сразу в одно место мы не пойдём. Если все встанут у конца, а он встанет у начала — вы полкилометра будете бежать с носилками.

Она видит меня и подходит.

— Долго стоишь.

— Стою.

— Сядь на что-нибудь. Хоть на бочку. Ты мне вечером на пробу нужен, а не после суток на ноге.

— Сяду через семь минут.

— Через семь минут ты не сядешь, ты пойдёшь туда, — она кивает на полосу. — И я тебе даже мешать не буду. Но сейчас — сядь.

Я сажусь на бочку. Это унизительно ровно настолько, чтобы быть полезным: с бочки я перестаю думать о колене и начинаю видеть поле.

А поле выглядит плохо.

Проход обозначен вешками, и их мало. Земля на последних ста метрах свежая, тёмная, с рубцами от лопат, и по ней видно, где прошёл каток и где не успел. Плащ-палатка на мягком конце — белесое пятно, которое, честно говоря, с воздуха будет незаметно. Люди уходят с поля, но медленно, потому что люди всегда уходят медленнее, чем считает тот, кто назначал четыре минуты.

Из блиндажа выскакивает Савченко и бежит ко мне.

— Товарищ старший лейтенант! Двадцать седьмой!

— Что?

— Передаёт: «Не держит».

— Дословно?

Савченко разворачивает ко мне лист, не переводя дыхания. На листе крупными печатными: 11:49. «НЕ ДЕРЖИТ». И больше ничего — ни «мотор», ни «высоту», ни «падаю».

— Так и передал, — говорит он. — Я не стал дописывать. Вы сказали — дословно.

— Правильно не стал.

Два слова.

Я знаю эти два слова. Я слышал их в разных вариантах тридцать лет, на разных машинах, на разных языках приборов, и они всегда означают одно: время, которое ты считал своим, только что кончилось.

— Вышка! Где борт? — кричу я, и стоящий ближе к блиндажу телефонист передаёт вопрос наблюдателю.

Через несколько секунд приходит ответ, и его орут через поле:

— Снижается! Идёт к берегу!

Я смотрю на часы, и часы показывают мне ровно то, чего я боялся.

Из четырёх минут, которые Гордеев выторговал у земли, прошло две с половиной. Телегу увели, людей увели, вешки поставили. Не успели одного: собрать с дальнего края железо и бросить на мягкий конец хоть что-нибудь, что будет видно сверху.

Одной минуты не хватает.

И я очень хорошо знаю, где эта минута лежит. Она лежит там, на частоте, между двумя позывными, когда Ершов повторил чужую команду и ушёл мористее, а мы его возвращали.

Первое движение — найти виноватого. Оно у всех первое. У меня в прошлой жизни ушло лет двадцать на то, чтобы научиться его пропускать, и толку от этой науки было ровно столько, что теперь я его узнаю в лицо.

Тридцать первый не вредил. Он шёл с задания и хотел сесть. Тимка не тянул: он развёл их по времени быстрее, чем это сделал бы я. Мы просто работали вчетвером на одной доске, рассчитанной на двоих, и заплатили за это минуту.

Значит, минуту надо взять где-то ещё.

— Ремизов! — кричу я. — Сколько ещё надо?

Он выпрямляется у трамбовки, которую волочёт к краю, и отвечает, не задумываясь:

— Полторы!

— У нас ноль.

Он смотрит на меня секунду, потом бросает трамбовку там, где стоит, — за вешкой, в траве, — и машет своим: всё, руки пустые, уходим.

Я поворачиваюсь к блиндажу. Гордеев уже выходит из него — он услышал.

— Круг снимаем, — говорю я.

— Ремизов не закончил.

— Ремизов не закончит и через десять. У нас нет десяти.

Гордеев секунду смотрит на поле — на уходящих людей, на трамбовку, которую двое волокут к краю, на тягач, который ещё пылит у дальнего капонира.

— Прекратить работы! — кричит он так, что слышно на другом конце. — Всем с полосы! Сигнальщик — разрешающий!

По полю бегут. Кто-то тащит лопаты, кто-то бросил и тащит только себя. Трамбовку роняют на бок у самой вешки, и Ремизов, матерясь без слов, одним лицом, разворачивается и волочит её дальше сам.

— Тимка! — я встаю с бочки и иду к блиндажу, и палка вязнет в земле. — Передавай! Одно! «Проход открыт. Садиться в начале. Конец мягкий, не прокатан».

— Передаю!

— И пусть повторит!

— Повторяет! — кричит Тимка через минуту из амбразуры. — «Понял. Иду».

Сигнальщик у начала прохода поднимает над головой разрешающий знак и держит его двумя руками, стоя за вешкой, — там, где ему велел стоять Федя.

Пыль ещё не осела. Она висит над последними ста метрами длинной рыжей полосой, и сквозь неё хорошо видно, какая там земля: тёмная, рыхлая, вспоротая.

Все, кто сейчас смотрит на поле, видят это одинаково. И тот, кто подходит с моря на одном живом моторе, увидит тоже — когда будет уже поздно менять решение.

Из-за низкого берега, левее мельницы, выходит самолёт.

Он идёт ниже, чем мне хотелось бы, с левым креном, и правый винт у него крутится не так, как левый, — это видно даже отсюда, мне от бруствера, где я остановился с можжевёловой палкой в руках. Он выравнивается и кладёт машину на проход, и с земли кажется, что он идёт прямо на нас.

Я упираю палку в землю обеими руками. Колено говорит мне всё, что оно обо мне думает, и я его не слушаю.

Поле замирает не красиво, а рвано: кто-то садится на корточки за отвалом, кто-то остаётся стоять столбом, Мищенко высовывает голову из-за бочек, Ремизов держит своих за плечи, чтобы не лезли раньше времени. Лида стоит у твёрдого края, сложив руки, и смотрит не на самолёт, а на то место, где он должен остановиться. Федя у вешки поднял левую руку. Плешаков стоит у тягача с заглушенным мотором и ждёт, чтобы завести его сразу, а не после.

Гордеев отходит от сигнальщика и останавливается рядом со мной, и мы оба молчим, потому что всё, что можно было сказать, уже сказано в эфир и повторено обратно.

Дальше это не наша работа. Дальше — работа человека, который сидит там, в кабине, второй месяц на фронте, с раненым штурманом за спиной и с мотором, который не держит.

Проход есть.

Люди в самолёте ещё не спасены.

Глава 5



Он касается земли на добрую сотню метров раньше, чем мы ему нарисовали.

Я вижу это сверху вниз, с бруствера, опираясь на можжевёловую палку рядом с блиндажом. Машина выходит из-за дыма низко, с задраным носом, правый винт крутится неровно, будто ему в цилиндры сыплют песок. Проход у нас начинается от вешки с белой тряпкой. Лётчик сажает до вешки, на некатанный луг, потому что у него больше нет запаса, чтобы дотянуть куда-то красиво.

— Раньше, — говорит рядом Савченко и снимает один наушник, как будто без наушника видно лучше.

— Вижу.

Пыль из-под колёс идёт двумя хвостами, и оба хвоста чистые, ровные ровно две секунды. На третьей левое колесо находит то, чего не было на нашем плане: старый след от телеги, размытый дождём и присыпанный сверху, мягкий, как тесто. Машину сажает влево. Я слышу звук, будто кто-то ломает о колено толстую сырую доску, — стойка складывается, и левая плоскость идёт к земле.

Дальше всё делается быстро и одновременно очень медленно, как всегда в таких вещах. Крыло цепляет траву, разворачивает самолёт носом влево и волочёт. Слева от обозначенного прохода, на прежней оси полосы, лежит воронка, засыпанная утром наполовину; самолёт проносит по её краю, не задев ямы. Справа от прохода, у вешек, стоят сигнальщики и расчёт с тягачом; между ними и машиной остаётся полоса луга, которую никто не мерил, но она есть.

Он уходит в пустое. Из всего, что у него оставалось, он выбрал именно это.

Самолёт останавливается, перекошенный на левое крыло, хвост задран, и из-под левого мотора сразу выползает низкий рыжий огонь — не столб, а лужа, растёкшаяся по траве и по нижней части фюзеляжа.

— Пожар, — говорит Савченко ненужное.

Я уже иду. Точнее, пытаюсь идти, и правое колено отвечает мне на первом же шаге так, что перед глазами на мгновение садится белое. Пятьдесят метров до тягача я прохожу как по битому стеклу, и это ещё нормально; девяносто метров до самолёта я так не пройду.

Тягач уже разворачивается. Плешаков стоит на подножке, придерживаясь за скобу, и орёт на своего тракториста что-то короткое и злое.

— Василий Фомич!

Он видит меня, видит, как я иду, и делает единственное разумное: не спорит и не сочувствует.

— Хватайся!

Я цепляюсь за вторую скобу и втаскиваю себя на подножку здоровой ногой и обеими руками. Тягач дёргает, меня бьёт о железо бедром, и это, как ни странно, легче, чем шаг.

В кузове лежит то, что Плешаков собрал ещё утром, когда мы только узнали, что к нам идёт чужой подранок: два пенных огнетушителя, свёрнутая кошма, лом, ящик с песком и две лопаты. Утром я подумал, что он перестраховывается. Сейчас я думаю, что человеку, который таскает лишнюю кошму, надо выдавать двойную порцию сахара.

— Кошму — под брюхо, огнетушители — на бак и на мотор, — говорит Плешаков на ходу. — Ковальчук, песок не на огонь кидай, а на дорожку. Ему бежать некуда, если дорожку перекроем.

— Понял!

Мы подходим с наветренной стороны. Дым уносит от нас, он белый снизу и чёрный сверху, и в нём горит трава вперемешку с бензином.

И тут я вижу, как от хвоста наперерез бежит санитар с сумкой, напрямик, кратчайшим путём, — а кратчайший путь у него лежит под правым винтом, который ещё лениво крутится на малом газу, потому что лётчик там, в кабине, занят сейчас совсем другими вещами.

Я не успеваю даже набрать воздух.

Лида успевает. Она берёт его за поясной ремень сзади и тянет на себя всем весом, и они оба садятся в траву, а санитарская сумка улетает вперёд и ложится в плоскости вращения винта, под тяжёлой лопастью, которая через полсекунды снова проходит над ней.

— Стой! — говорит она ему в ухо, не крича. — Вон твои сумка. Хочешь вторые носилки, свои?

Винт делает ещё три оборота, замедляется и замирает, и сразу становится слышно, как трещит горящая трава и как внутри фюзеляжа кто-то колотит по железу.

— Люк! — Плешаков первым разбирает этот стук. — Нижний люк!

Мы обходим крыло. Нижняя стрелковая точка — там, где фюзеляж ближе всего к земле, и туда как раз натекло горящее. Рамка люка перекошена: когда сломалась стойка, машину повело, и фюзеляж сел на брюхо не ровно. Изнутри её толкают и толкают, и с каждым толчком становится понятнее, что толкают уже без расчёта, просто телом.

— Кошму!

Ковальчук с помощником накрывают лужу огня кошмой у самого борта. Пламя приседает, прижимается, лезет по краям. Второй моторист бьёт пеной по борту, не по человеку — по металлу, чтобы металл перестал быть сковородкой.

Плешаков берёт лом, заводит его под угол рамки, где перекос меньше, и говорит в железо спокойно, как в трубку телефона:

— Отойди от люка. Считаю до трёх и рву. Раз. Два.

Рамка идёт с визгом. Люк уходит вбок, и оттуда сначала выходит дым, а потом вываливаются руки.

Санитар разворачивает принесённое с носилками одеяло по траве у люка. Подбежавшие сигнальщики ложатся рядом, подхватывают стрелка под плечи и вытягивают наружу, стараясь

не задеть обгоревшей ногой край рамки. Лида командует им от крыла; когда он весь оказывается на ткани, четверо берутся за края и переносят его на носилки. Стрелок горел не весь; у него горели штанина и левая рука до локтя, и сейчас он уже не горит, он просто очень хочет встать и идти, и его держат.

— Не сдирать! — Лида уже над ним, на коленях, и голос у неё делается ровным и громким, таким, что ему подчиняются раньше, чем понимают. — Что прилипло — режем вокруг, не тянем. Носилки держите ровно. Воду не лить. Галя, пакет и ножницы.

Из передней кабины вылезает лётчик. Он высокий, в мокром от пота комбинезоне, и лицо у него в саже двумя полосами, как у мальчишки, который лазил в печь. Он делает три шага от самолёта, разворачивается и идёт обратно.

Я перехватываю его за плечо.

— Стой.

— Там сумка, — говорит он. — Мне надо сумку.

— Плешаков!

— Не пускать! — не оборачиваясь, отвечает Плешаков. — Бак левый не разорвало, но он течёт, и оно ещё дышит под кошмой. Через пять минут вынесу сам.

— Слышал? Через пять минут вынесет сам.

Лётчик смотрит на меня так, как смотрят на человека, который не понимает чего-то очень простого.

— Полищук её под слово взял. Там чужая разведка, я вёз!

— Ты довёз, — говорю я, удерживая его за плечо. — Она в ста метрах от лаборатории. Дальше не твоя работа.

Он моргает, и в глазах у него что-то становится на место.

— Понял.

Штурмана выносят из передней кабины на руках. Лида перехватывает его у крыла, велит уложить на свободные носилки; он открывает глаза на её голос, пытается сесть, но она удерживает его за здоровое плечо. Радист выходит последним, и его ведут под руки, потому что у него обожжены ладони — он, судя по всему, и бил в люк, и держал что-то горячее. Он держит руки перед грудью, не смыкая обожжённых ладоней, и ищет глазами.

Их четверо. Я считаю их вслух, потому что счёт вслух — единственное, что сейчас надо.

— Командир.

— Ершов, — говорит лётчик.

— Штурман.

— Зимин, — с задержкой отзывается он с носилок. Лида наклоняется к нему, проверяя, понимает ли он обращённый вопрос.

— Радист.

— Полищук, — радист наклоняет голову в мою сторону, прижимая локти к бокам: ладони поднять не решается.

— Стрелок.

— Тарасов, — отвечает за него Лида, потому что Тарасов уже на носилках и разговаривает с небом. — Живой. Ожоги руки и бедра, без дыхательных. Понесли.

Четверо. Все четверо.

Никто не говорит речей. Кто-то из мотористов садится на корточки и вытирает лицо рукавом, кто-то ещё сбивает лопатой отдельные языки огня в траве, и это, по-моему, лучшее, что можно сделать с такой минутой: не портить её словами.

Ершов поворачивается и смотрит назад, на свой след.

След длинный, с надломом там, где сложилась стойка. По правую руку от следа стоит вешка с белой тряпкой, а сразу за вешкой — та самая полужасыпанная воронка, тёмная, с рыжими краями. Между колеёй и воронкой метров двенадцать. За воронкой, у вешек, стоят

четыре человека сигнального расчёта, и один из них только теперь опускает флажок, поднятый при открытии прохода.

Ершов смотрит на это долго. Потом у него начинает подрагивать подбородок, и он этого стесняется, поэтому говорит громко и почти зло:

— Вы мне открыли не там, где обещали.

— Мы тебе открыли раньше, чем утрамбовали, — отвечаю я. — И предупредили, что дальний конец мягкий. Ты сел до вешки.

— У меня тяга падала.

— Я знаю. Поэтому мы и открыли раньше.

Он опять смотрит на воронку.

— Если бы я дотянул, как собирался...

— Не дотянул бы. — Я говорю это ровно, потому что жалеть его сейчас — значит врать. — Ты сел там, где мог сесть, и увёл машину влево, в пустое. Это твоя посадка, Ершов. Не моя, не сигнальщика, не земли. Земля дала тебе честный проход и честное предупреждение. Всё остальное сделали твои руки.

Он вытирает лицо ладонью, размазывая сажу окончательно.

— Стойку сломал.

— Стойку сделают. Людей не делают.

Кто-то из его экипажа коротко смеётся, и от этого смеха всем становится легче, включая меня.

Я поворачиваюсь к тягачу, чтобы сесть на подножку, и понимаю, что за последние десять минут ни разу не вспомнил про колено. Оно вспоминает про меня само, сразу и подробно, и я стою у скобы, пережидая, пока перед глазами уляжется.

Молодое тело, старая привычка. Двадцать с небольшим лет, а ходит, как дед с базара.

Огонь добивают ещё минут семь. Кошму снимают, когда под ней перестаёт дышать, и мокрая земля под ней парит. Плешаков лезет под фюзеляж сам, с фонарём, хотя солнце уже высоко, — светит в стыки, смотрит, где шло пламя и куда могло уйти.

— Обшивку по низу повело, шпангоут смотреть будем, — говорит он оттуда. — Бак левый пробит осколком ещё в воздухе, не сейчас. Он ему всю дорогу капал.

— Поэтому и тяга падала?

— Тяга падала по другой причине, и я в неё сейчас не полезу, — отвечает Плешаков, вылезая задом. — Я в неё полезу, когда остынет и когда мне её опишет тот, кто в кабине сидел, а не тот, кто рядом стоял.

Он вытирает руки о ветошь и наконец выносит сумку — обычную брезентовую полётную сумку, потёртую, с оборванным ремнём.

Полищук тянется к ней обожжёнными руками раньше, чем она оказывается на земле.

— Мне, — говорит он. — Мне передавали.

— Держи, — Плешаков отдаёт без спора.

Радист прижимает сумку к груди локтями, потому что ладони у него уже не работают, и садится с ней на подножку тягача.

Гордеев подходит со стороны блиндажа. Он идёт быстро, сапоги у него по щиколотку в свежей земле, на рукаве пыль; последние минуты он провёл здесь же, между блиндажом и полосой. Он оглядывает нас по одному: Ершова, Зимина, носилки, которые уже унесли, меня у скобы.

— Все? — спрашивает он.

— Все четверо, товарищ капитан. Стрелок с ожогами руки и бедра, у Ковалёвой. Штурман пришёл в себя, тоже на носилках. Командир и радист на ногах.

— Машина?

— Сломана стойка, обшивка по низу, левый бак пробит осколком в воздухе. Плешаков и Руденко смотрят.

Гордеев кивает, и тут его взгляд останавливается на сумке, которую радист держит локтями.

— Это что?

— Кассета, товарищ капитан, — говорит Полищук. — Фотокассета. Мне её лично передали, я обещал доставить.

— Кто передал?

— Лейтенант Гушин.

Гордеев смотрит на него уже иначе.

— Где?

— На подскоке. Мы туда сели ночью, мотор щупать. Их машина там лежит на брюхе, у дальнего края. Экипаж живой, двое побитые, штурман ходит. Гушин говорит: у меня плёнка с прохода после удара, а самолёта нет. Я говорю: у меня самолёт есть. — Полищук усмехается серыми губами. — Оказалось, не очень есть.

— Он сам снимал?

— Сам. Говорил, зашёл два раза, второй раз уже по светлому дыму.

— На кассете отметки есть?

— Есть. Он при мне надписал и при мне же завернул.

Гордеев поворачивает голову к посыльному, который стоит в трёх шагах и ждёт.

— Синецына сюда. Бегом.

Старшина Синецын из фотослужбы прибегает через четыре минуты с таким лицом, будто ему сказали, что горит его лаборатория. Он маленький, в очках, и у него на пальцах вечные тёмные пятна, которые не отмываются.

— Принимай, — говорит Гордеев.

Синецын протягивает руки и тут же их отводит.

— Товарищ капитан, я при свидетелях приму и распишусь. И вскрывать здесь не дам, даже пальцем не дам трогать завёртку. Тут солнце.

— Никто и не собирается.

Полищук всё ещё не отдаёт. Он держит сумку локтями и смотрит на Синецына с сомнением человека, который вёз это через полночи, через один мотор и через огонь.

— Товарищ старшина, а вы её точно проявите?

— Точно, — отвечает Синецын. — И точно испорчу, если кто-нибудь сейчас начнёт торопиться. Там эмульсия, а не кирпич.

— К вечеру будет видно? — спрашивает Гордеев.

— К вечеру плёнка будет сохнуть. Смотреть будем ночью, и что я увижу ночью — это ещё не значит, что там есть то, что вам нужно. Может, дым. Может, облако. Может, засветка от прожектора.

— Вот и хорошо, что ты так говоришь, — Гордеев усмехается, глядя на руки фотолаборанта. — Расписывайся.

Синецын расписывается на листке, оторванном от блокнота, ставит время и даёт карандаш Ершову как командиру борта. Полищук тоже тянется — и останавливается, едва пальцы касаются дерева.

— Не надо, — я отодвигаю карандаш. — Скажешь вслух. Мы оба слышим.

Синецын дописывает, от кого принята кассета, и читает Полищуку всю строку. Тот слушает, всё ещё удерживая сумку локтями.

— Верно. Я передал, вы приняли, — произносит он наконец и смотрит, как Ершов ставит подпись рядом со временем.

И только когда бумажка с двумя подписями уходит в карман старшины, он разжимает локти.

— Всё, — говорит он и сразу делается меньше ростом. — Всё.

— Теперь ты, — говорит ему Лида, возникая сбоку. — Руки на свет. И не надо мне рассказывать, что вы их в полёте не жгли.

Гордеев отходит от всех на три шага и коротким движением подбородка зовёт меня за собой.

— Как нога?

— Работает в тех пределах, которые мне очертили.

— Ты на тягаче ехал.

— Так быстрее.

— Ты на тягаче ехал, потому что бегом не мог. — Он не спорит и не жалеет, он просто ставит это на полку. — Ладно. Иванов, слушай задачу. Ближайшее задание нам никто не отложит ни ради этой плёнки, ни ради того, чтобы твои четверо выздоровели все разом. Мне нужен боевой состав из тех людей, которые есть на этом острове сегодня.

— Понял.

— Второе. То, что сейчас произошло, произошло правильно. Береговой пост, связь, карта, проход, расчёты, тягач, санитары в двух концах. — Он смотрит на след от колёс и на вешку. — Я не хочу, чтобы через неделю это вспоминали как удачное утро. Разбери это как порядок. Чтобы следующий раз, когда я буду не здесь, а в другом месте, оно сложилось без меня и без тебя.

— Есть разобрать как порядок.

— Почти шесть часов. — Он смотрит на часы, и я смотрю на свои. — Сбор в восемнадцать. Спать, есть, чиниться, учиться. В восемнадцать я хочу увидеть готовых людей, а не героев с красными глазами.

Он уходит, и я остаюсь с шестью часами в кармане.

Шесть часов — это много. Шесть часов — это ничтожно мало. Всё зависит от того, кто их будет тратить и на что.

Первым их начинает тратить Ершов.

Он подходит, когда я стою у левой плоскости его машины и смотрю, как Руденко ощупывает низ фюзеляжа. Ершов подходит не один — за ним, в трёх шагах, стоит Полищук с руками в свежих бинтах, а Зимин приподнял голову с носилок, дожидаясь санитаров, и это уже не разговор, это заявление при экипаже.

— Товарищ старший лейтенант. Разрешите обратиться.

— Обращайся.

— Возьмите меня на ближайший вылет. Любым. Хоть вторым, хоть кем. На чужой машине, я не привередливый.

Вот оно. Я ждал этого с той секунды, как он назвал свою фамилию на перекличке.

Человеку двадцать пять, он привёл домой машину на одном с половиной моторе, его стрелка только что вытащили из огня, — и ему сейчас стыдно. Ему стыдно так, как бывает стыдно только за сломанное железо, потому что железо лежит на виду и видно всем. И если я скажу ему сейчас «нельзя», он услышит второе поражение за одно утро.

— Не возьму, — говорю я.

Он ждал этого и всё равно бледнеет под сажей.

— Из-за стойки?

— Из-за двух вещей, и стойки среди них нет. — Я поворачиваюсь к нему целиком, чтобы он видел, что я разговариваю, а не отмахиваюсь. — Первая: тебя не смотрел врач. Ты ночью шесть часов в воздухе, из них последние сорок минут — без ориентировки, потом посадка с

поломкой и пожар. Я не знаю, что у тебя сейчас с головой и со слухом, и ты не знаешь. Это решает Ковалёва, не я и не ты.

— У меня всё...

— Вторая, — перебиваю я. — Ты не знаешь чужой борт. У каждой машины свои мелочи: как берёт тормоз, куда уводит на разбеге, какой из моторов первым просит режим. Ты их узнаёшь за десять вылетов. Ночью, над целью, с чужим экипажем, который тоже тебя не знает, эти мелочи стоят дороже твоего желания. Я не пущу человека в ночь на машине, с которой он не здоровался.

Он молчит. Полищук за его спиной смотрит в землю.

— Значит, я сегодня никто, — говорит Ершов.

— Значит, ты сегодня умеешь то, чего никто из моих молодых не умеет, — отвечаю я. — Пойдём.

Я иду к блиндажу, и он идёт за мной, и Полищук тоже идёт; у дверей Лида перехватывает его и уводит следом за носилками штурмана. Ершов оглядывается, но санитарам он уже не нужен, а мне нужен его рассказ.

В блиндаже на щите из трёх досок лежит карта под мутной слюдой. Я снимаю слюду, кладу поверх чистый лист кальки и даю Ершову карандаш.

— Покажи мне, где ты потерял полосу.

Он берёт карандаш и держит его, как держат что-то чужое.

— Я её не терял. Я её не нашёл.

— Ещё лучше. Показывай.

Он наклоняется. Ему нужно секунд десять, чтобы перестать быть человеком, у которого сломана стойка, и стать человеком, который вчера ночью летел.

— Вышли к берегу вот здесь. — Карандаш ложится севернее, чем я ожидал. — Облачность рваная, снизу мгла. Вижу воду, вижу тёмный язык земли вот такой формы. — Он рисует. — И у меня в голове — что этот язык у нас перед бухтой.

— А он?

— А он не у нас. Он вот тут, на тридцать километров выше. — Карандаш переезжает. — Два залива, две косы, и с девятисот метров ночью они одинаковые, как два ботинка. Я на них десять минут положил.

— Что ещё тебя держало?

— Дым. — Он говорит это уже совсем другим голосом, злым на себя. — Я после налёта ждал, что у вас будет дымить. Мне сказали: аэродром работал по тревоге. И я увидел дым — вот здесь, у самого берега. И пошёл на него.

— Что горело?

— Не знаю. Сарай, стог, катер. Что-то горело у воды одиночным пятном и хорошо просматривалось.

— Зимин ещё до того, как отключился, говорил: не похоже, — Ершов упирает карандаш в край кальки. — У нас должно быть три очага и дальше от воды. А я уже хотел, чтобы это была наша земля.

Вот это — самая ценная фраза за всё утро. Не «я ошибся», а «я уже хотел». Лётчик, который научился отделять то, что видит, от того, чего хочет, стоит трёх лётчиков, которые просто храбрые.

Я разворачиваю кальку к себе.

— Хорошо. Теперь работа. Сегодня с вечера пойдёт пара — не моя, из вторых, молодые. Им идти той же дорогой. Я хочу, чтобы ты им приготовил заход.

Он поднимает голову.

— Как — приготовил?

— Как человек, который ночью перепутал два ботинка и знает, чем они отличаются. Возьми лист. Напиши: какой берег с какой высоты как выглядит; где второй залив; что дым у воды — не признак аэродрома; по каким двум предметам их отличать наверняка. Если признаков нет, так и напиши: нет. И отдай им лично, в руки, а не в штаб.

— Я им не начальник.

— Ты им ночью сегодня будешь ближе начальника, — говорю я. — Тебя они послушают именно потому, что ты сел на брюхо, а не потому, что ты красиво рассказываешь.

Он смотрит на кальку, и я вижу, как у него в голове поворачивается какое-то колесо.

— И ещё, — добавляю я. — Есть третье задание, и оно для них, не для тебя. Пусть на обратном пройдут вдоль берега и посмотрят: горит ли то пятно у воды до сих пор. И запишут, как оба залива видны с девятисот и как — с тысячи двухсот. Одна запись, с временем. Тогда через неделю этот ботинок перестанет быть ботинком.

Ершов переворачивает кальку и сам записывает поручение, придерживая угол запястьем.

Молодые собираются вскоре после полудня, у входа в блиндаж, где тень. Их восемь: два экипажа, которые вечером пойдут парой, и с ними Савченко, потому что мне нужен человек, слышавший всё сегодняшнее с земли.

Ершов читает им свой лист. Читает плохо, запинаясь, по три раза возвращаясь к одной фразе, и это ровно тот способ, которым такие вещи запоминают.

Потом кто-то из молодых спрашивает то, чего я ждал:

— Товарищ лейтенант, а почему вы так долго не выходили на нашу волну? Мы слышали — вас зовут, а вы как глухой.

Ершов кладёт лист.

— Потому что волна была занята, — говорит он. — И потому что я сам её занимал.

— Как?

— Так. — Он трёт лоб. — Я на подходе просил помощи длинными фразами. Я говорил: нахожусь предположительно квадрат такой-то, мотор работает с перебоями, предположительно вижу берег, прошу дать привязку, прошу сообщить состояние полосы, прошу... Я в одну передачу пихал всё, что у меня болело. А в это же время рядом шёл ещё один, и он тоже говорил длинно. Мы с ним друг друга затоптали. Я услышал кусок его курса и взял его себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.